МАКСИМ ОСИПОВ

ПГТ ВЕЧНОСТЬ

CORPUS

Сквозь эту прозу, с виду вполне будничную, неожиданно проступает неизъяснимый поэтический смысл.

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

Максим Осипов

пгт Вечность (сборник)

«Corpus (АСТ)»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Осипов М.

пгт Вечность (сборник) / М. Осипов — «Corpus (АСТ)», 2017

ISBN 978-5-17-982688-0

Это пятый сборник прозы Максима Осипова. В него вошли новые произведения разных жанров: эссе, три рассказа, повесть и драматический монолог – все они сочинены в новейшее время (2014–2017 гг.), когда политика стала активно вторгаться в повседневную жизнь. В каком бы жанре ни писал Осипов, и на каком бы пространстве ни разворачивались события (Европа, русские столицы, провинция), более всего автора интересует современный человек с его ожиданиями и страхами. Главное, что роднит персонажей Осипова, – это состояние одиночества, иногда мучительное, но нередко и продуктивное.Максим Осипов – лауреат нескольких литературных премий. Его рассказы и повести переведены на двенадцать языков.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-982688-0

© Осипов М., 2017
© Corpus (АСТ), 2017

Содержание

Свента 6
Фантазия 12
пгт Вечность 20
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Максим Осипов
пгт Вечность

© М. Осипов, 2017
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
© ООО “Издательство Аст”, 2017

* * *

Свента

Памяти родителей

Внуково – самый маленький, самый камерный аэропорт из московских, и когда прилетаешь в него, да еще в субботу в одиннадцать вечера, столпотворения не ждешь. Отметки в паспорте, чемодан, всё быстро:

– Откуда?

– Из Вильнюса.

– Что везем?

Ничего особенного: книжки, сыр. Нормы ввоза продуктов тобой не нарушены – проходи.

Но именно тут, на выходе, тебя ожидает сюрприз: мужчины, плотной толпой. Столько народу может встречать, например, самолет из Тбилиси, но нет, не похожи они на грузин. Нету и приставаний – “Такси, такси в город, недорого”, как-то странно тихо, несмотря на толпу. Протискиваешься через нее, а она не редеет, люди не расступаются, но и не мешают нарочно – стоят. Крепкие мужики средних лет, безбородые, в темных пальто и куртках, они как будто не видят тебя. Не огрызнутся, не сделают замечания, если колесами чемодана проехаться им по ногам. Кажется, можно щипать их, колоть – не сдвинутся. Непонятная, темная сила из сна: кто они, куда собрались – в паломничество, на хадж? Сейчас выясним: где тут охрана, полиция?

Пробравшись к стеклянной двери, обнаруживаешь, что она заперта, – там, на улице, тоже толпа, но другая, более пестрая, разнополая. Караулит дверь полицейский, в руке у него какой-то сосуд – как же поздно ты все понимаешь! – да ведь это лампада: вечер Великой субботы, люди замерли в ожидании, скоро благодатный огонь прилетит.

– Спецрейсом, из Тель-Авива. Ждем борт.

“Рак зэ хасэр лану” – только этого нам не хватало – весь известный тебе иврит.

Через час или два приземлится борт, начальство под телекамеры раздаст мужичкам огонь, и они лампадами повезут его по Москве, Подмосковью и в соседние области. Тогда уж и всех остальных пустят внутрь. Легко найти репортаж: люди едут во Внуково отовсюду – “Приезжаем шестой уже год”, “Верим в народ, в страну”.

Ничего, ничего, без паники. Полицейский делает знак:

– Третья дверь на выход работает.

Надо снова проталкиваться, волоча чемодан за собой. Так завершается поездка в Литву.

– Какие эмоции вызывает у вас это место? – спрашивает по-английски девушка-корреспондент зарасайской газеты. Она единственная из пришедших на встречу с тобой и Томасом, переводчиком и издателем, не понимает по-русски.

– Для меня Зарасай – не место даже, а время. – Чтоб не искать слова: – Paradise lost, потерянный рай.

Девушка настораживается: товарищ скучает по СССР? – О, нет! Лишь по тем временам, когда были живы родители.

– Вы, что же, впервые в свободной Литве?

В свободной – впервые. Хорошо не чувствовать себя оккупантом. Пробежался по Вильнюсу, все понравилось, но тянуло сюда. Смотришь по сторонам: новая библиотека у озера (весь город на берегу), кафе начала семидесятых, с колоннами, неработающее (там давали комплексные обеды), костел. Памятника вооруженной девушке (Мельникайте) словно и не было. И природа, как обычно в таких городках, привлекательней построенного людьми.

– Почему было не приехать раньше?

Ответить нечего, только плечами пожать. Отец отсюда писал, почти сорок уже лет назад: “Здесь тихо и бесконфликтно. И в доме, и в городе, где сейчас мало людей, и, наверное, потому со мной вежливы даже на почте. И сам порой себя чувствуешь не занюханным москвичом с перегруженной совестью, и мир видишь иначе – ощущаешь его пронзительность”.

А вот и собственная твоя дневниковая запись пятнадцатилетней давности: “Хочу в Зарасай, где провел столько времени – каждое лето, подряд столько лет. И все-таки еду туда и сюда, только не в Зарасай. Это и означает – жить не своей жизнью”.

Тут ветрено, чисто – почвы песчаные, да и местные жители склонны поддерживать чистоту. Пустынно.

– Просторно, – улыбается девушка-корреспондент.

Да. Вы прощаетесь:

– Приезжайте летом, с компанией.

Неплохо бы. Но из тех, с кем вы ездили в Зарасай, один – в Сан-Франциско, другой – в Амстердаме, с кем-то пришлось рассориться, а несколько человек, включая родителей и сестру, умерли. И ты отправляешься на полуостров, он находится в двух километрах, с южной стороны озера, дорогу ты помнишь – ни навигатор, ни провожатые не нужны.

“Здесь дом стоял…” – двухэтажный, каменный. И следа не осталось, снесли. После смерти хозяев (о которой ты знал) дети делили наследство, дом продали, а покупателям он не пришелся по вкусу, и его уничтожили, со всеми пристройками, сровняли с землей. Хотели сделать что-то свое, но, видно, деньги закончились. Так расскажут соседи, они даже помнят немного вашу семью.

Странно, дом-то был крепкий. С огромным балконом, на него выносили обеденный стол. “Так вот с кем мы дело имеем…” – сказала мама без выражения, – гость ваш, сосед, похожий на Сергея Рахманинова, тоже москвич, сообщил за чаем, что он парторг своего института. Мама была молчалива, особенно в сравнении с отцом, но могла произнести и что-то такое, неудобное, в сторону. Она здесь бывала только в июле и августе, а отец – во всякое время. Летом жил наверху, а зимой – тут приблизительно, где теперь стоишь ты. “И вот сейчас выпархивает птица / Сквозь пустоту тогдашнего окна…”

Стихи стихами – исчезновение дома вызывает растерянность: камни, как выясняется, тоже недолговечны. Печально, хотя, разумеется, есть вещи и пострашней, да и ты не Набоков, не Пруст. Походи между сосен по мягкому мху, подойди к воде. Ни высокие старые сосны, ни худенькие деревца возле берега, ни заросли камышей никуда не девались – вот они, тут как тут.

Такое воспоминание: семьдесят восьмой год, август, – тебе, значит, скоро пятнадцать. С Харитошей, дружком на всю жизнь, одноклассником, вы спустили на воду яхту “Дельфин”, гэдээровскую, клееную-переклееную (тогда было принято вещи чинить), два шверта по бокам – препятствуют дрейфу, дают курсовую устойчивость. Вы отплываете в путешествие по Зарасайскому озеру – ты на стакселе, Харитоша на гроте и на руле. Крутой бейдевинд – готовься откренивать! “Подруга, до свиданья, мамаша, до свиданья, / Иду я моряком в Балтийский флот”. Но у вас оторвался шверт, и вы никак не можете вывести лодку из бухты, волны относят вас к берегу. Вяло, по очереди вы пробуете грести. Отец наблюдает с мостков: он уже несколько раз влезал в холодную воду, выталкивал вас из зарослей. Стоп. У Харитоши идея: “Неплохо бы раздобыть эпоксидки. Шверт присобачить, черт бы его…” – “Ах, эпоксидки!..” Стоя по пояс в воде, отец произносит длинную речь. “Засранцы” – самое теплое слово, которое он подобрал.

Эпоксидка становится именем нарицательным для неуместных идей, а лодку свою ты увидишь – на киноленте, когда начнешь разбирать архив. Начало шестидесятых, к “Дельфину” прицеплен мотор, мачта убрана, отец на корме, мама на водных лыжах катается по Оке. После смерти отца ты стал импульсивен, деятелен, пришло теперь время принять на себя и другие обязанности: вставлять фотографии в рамки, приводить в порядок архив.

После того, что случилось с домом, к исчезновению баньки ты совершенно готов – она была ветхая, деревянная. Мылись в субботу, а в пятницу носили из озера воду, заготавливали дрова. “Хорошо поработали”, – говорил ты десятилетним мальчиком Йозасу, высокому худому хозяину с огромными, очень сильными, черными от работы руками, тебе хотелось к нему подольститься. “Да, дали просраться”, – отвечал он мечтательно. Йозас курил сигареты без фильтра: запах горелой спички и прочее – если захочешь, то вспомнятся и банные приключения, но опять же это путевые заметки, не фильм “Амаркорд”.

Итак, ни дома, ни баньки, и даже мостки заменили на нечто безвкусно-фундаментальное. Не застревай тут, на полуострове, бери с собой Томаса и поезжайте на Свенту, но перед этим – в лес.

Женщина-библиотекарь нарисовала план: шоссе на Дягучяй, поворот на Дусетос, потом, после второй автобусной остановки, высматривайте указатель. “Место гибели восьми тысяч евреев, расстрелянных немецкими фашистами 26 августа 1941 года”. Слово “евреи” на обелиске казалось невозможной смелостью, во времена твоей юности это слово употреблялось только в особых случаях – не советскими же гражданами было их называть. Слева и справа – ров, поросший травой, двести тысяч литовских евреев лежат в таких рвах.

Десоветизация коснулась и памятника: русскую надпись убрали. Правильно ли? – решать не тебе, ты бы ее сохранил. Теперь тут две надписи – идиш с литовским. “На этом месте нацистские убийцы и их пособники зверски убили восемь тысяч евреев – детей, женщин и мужчин. Священна память невинных жертв” – идиш. В литовском варианте к пособникам добавлено уточнение – “из местных”.

Были и те, кто спасал. И кто сначала расстреливал, а позже спасал, и даже наоборот – в это трудно поверить, однако бывало и так.

Порядок поддерживается образцовый: ограда, аккуратный бордюр, на обелиске Звезда Давида, на постаменте свечи, флаги Израиля, камушки, кто-то принес небольшой самодельный крест. Этого прежде не было.

– Терпеть, оплакивать, – говорит Томас, – удел литовцев.

Все знают здесь анекдот про то, что последней женой непременно должна быть литовка: будет кому за могилкой смотреть. Нет, это не “женщины сырой земле родные”, напротив – поиски бытового выхода из любой, самой страшной, жизненной ситуации.

По дороге в гостиницу вспоминается невысокий мрачный старик лет шестидесяти, “из местных”, с почерневшим от пьянства лицом, слесарь или электрик, ездил на мотоцикле с коляской, сколько-то лет отсидел: “Поляко́в – к стенке. Русских – к стенке. Жидов… – он поднимал глаза на отца, – жидов через одного”.

Теперь бы это с рук ему не сошло, а тогда, хоть и без умиления, терпели: ведь оккупанты. Žydai – другого слова в литовском нет. Старик этот тоже смотрел на себя как на жертву, со всех возможных сторон. Радио “Свободная Европа” вплоть до середины пятидесятых передавало им, лесным братьям, утешительные сообщения: держитесь, ребята, осталось немного, скоро опять мировая война.

На Свенту в прежние времена выезжали на целый день – с пледами и едой, с книжками, с кружками для черники, корзинами для грибов, с волейбольным мячом, и машина была такой, что через дыры в полу виднелся асфальт, и коробка передач была, разумеется, механической. Как же вы подняли на смех маму, когда она, позже уже, с наступлением свободы, приехала из Америки и сообщила, что машины теперь не имеют педали сцепления – такого не может быть! – и она согласилась: вам лучше знать. И как бы хотелось теперь поделиться с отцом простой радостью – от совершенства автомобиля, пусть и взятого напрокат. Дорогу можно не

спрашивать – ее указывает навигатор. Он предлагает Свентское озеро, Sventes ezers, – то, что надо. У тебя самого на обложке “Maksimas” написано.

Это что же, граница? Разве Свента находится в Латвии? Конечно, вы ведь ездили в Даугавпилс, когда зачем-нибудь нужен был настоящий город. Там Ленин возле вокзала в шапке-ушанке стоял в любую жару и большая тюрьма. ЛитССР, ЛатССР – границы носили характер не слишком серьезный. А вот и дорога знакомая, с гравием, тут ты учился водить. И лес – больной, неухоженный. Все знакомо: дорога и лес.

Туристов, видимо, мало, и нет запрета на то, чтоб подъехать к воде. Многолюдно на Свенте и не было – одна из причин любить ее, – раньше, однако, здесь был заповедник: никаких костров и машин. А все остальное по-старому: вот он – песочек, вот плоскодонка с черным, блестящим, жирно просмоленным дном, а вот и мостки, подгнившие, тебе так не хватало мостков. Пробуешь по ним походить и оказываешься по щиколотку в воде. Сушишь ноги, оглядываешься.

“Почему ты все дуешь в трубу, / Молодой человек? / Полежал бы ты лучше в гробу, / Молодой человек”. Не отсюда ли, прячась за теми деревьями, ты оглашал окрестности ревом трубы? “Поэма экстаза”, “Гибель богов” – этот рев ты считал музицированием. “Неритмично, зато фальшиво”. – Друг-пианист, тот, что теперь в Амстердаме, уговорил оставить трубу, перейти на флейту – тихий, чувственный инструмент, – полюбить ее не удалось. Ощущение счастья все равно как-то связывается с трубой.

О тайнах счастия. Последнее написанное отцом письмо заканчивается так: “Собрались вместе – говорим или молчим, и нет уже чувства того, что жизнь состоялась или не состоялась. Иногда я думаю: может быть, мы как раз счастливы?” Пытаешься рассказать Томасу о родителях, но как сообщить тайну личности? – это даже сложнее, чем переводить стихи.

“Нас могут ждать всякие потрясения. Каждого человека они могут ждать, нас тем более. Надо действовать так, чтобы мы их меньше боялись”. – Отец, например, хорошо помнил, как в какой-то момент (“дело врачей” и вокруг) он не мог найти самой простой работы, как почти что с надеждой ждал депортации на Дальний Восток: лишь бы всем вместе, лишь бы рядом были свои. Письма его носили характер скорей назидательный, он спешил тебе что-то важное сообщить, а для мамы это был способ продлить молчание. “День провела как в поезде: просыпалась, засыпала и ничего не делала… А болтаю я просто так, нельзя же молчать в письме”.

Некоторое время постоять еще у воды, выкурить сигаретку, повспоминать о чем-то необщем, съесть мандарин. Мертвовато тут, тихо – кладбищенской тишиной.

И лишь вернувшись в гостиницу и изучив обычную карту, бумажную, ты поймешь, что ошибся. Свентес, Швянтас, Швянтойи, Святое озеро и Святая река – названия эти встречаются и по ту, и по эту сторону от латвийской границы. Озеро Швянтас – вот что вы звали Свентой, вот куда ты хотел попасть. Как же ты так обознался, обдернулся? Разница в птичке, гачеке: Šventas ežeras, ехать на юг, на Турмантас, ни в какую ни в Латвию.

Томас скажет:

– А вы все узнали, Максим: и дорогу, и озеро.

Да, узнал.

По пути в Вильнюс вы сравниваете впечатления. Для Томаса кульминацией вашей поездки стал грохот грузовиков по булыжнику возле костела, ветер и град, а ты и внимания не обратил. Странно с этими воспоминаниями: бывает, послушаешь целый концерт, а всего-то потом и вспомнишь, что на дирижере носки были красные.

Аисты и холмы, и много воды, небо напоминает голландское, но пейзаж выразительней – из-за холмов. Как бы жилось тебе тут? Да, провинция, но не провинциально, не чересчур. Просто такая страна в Восточной Европе – во многих отношениях только завидовать. Все здесь наладится потихоньку, если не будет воздействий извне.

“Когда я была столпом общества…” – одна немолодая твоя приятельница с этого любит начать свою речь. Может, вправду была. И в Литве есть любители вспомнить о временах, когда Великое княжество простиралось до Черного моря (главным образом за счет удачных женитьб), но здесь из былого величия не извлекают практических выводов. “Вы просто всего не знаете” – слышал такое и в Париже, и в Риме от антиевропейски настроенных русских людей. Только и разговоров: там-то и там нас не любят. – Друзья мои, больше всего нас не любят дома, в Москве.

“Надо действовать так, чтоб мы меньше боялись…” Тогда тебе не было двадцати, теперь уже больше пятидесяти. Говоришь Томасу:

– Поразительным образом все вернулось. Мои заботы тридцати-с-лишним-летней давности были ровно теми же, что сейчас: 1) не замараться, не испаскудиться, 2) не сесть и 3) не пропустить момент, когда будет пора уезжать насовсем. И надежда прежняя, призрачная: вот проснемся однажды, а весь этот морок закончился.

Обстоятельства вынуждают, однако, не спать, поглядывать в разные стороны, крутить головой. Остроумный приятель твой скажет: у князя Андрея Курбского были похожие настроения. Для Курбского и закончилось все Литвой.

“Выходи к помойке”, – пишет на телефон Bóris, друг Боречка, большой музыкант, скрипач, недавно он перебрался сюда из Лондона. Мужественно сражается с литовскими суффиксами – žmogus, žmonija, žmogiūkštis, žmogiškumas (человек, человечество и т. д.), – хотя в Литве, говорят, вполне можно обойтись английским и русским. Кстати, птички над буквами, гачеки, изобрел Ян Гус.

Боречке хочется, чтобы город тебе понравился, он тебя водит туда и сюда, извиняется за всякие некрасивости вроде той же помойки, подумаешь! Жизнь не богатая, но и не нищая, а главное – запретов, ограничений, шлагбаумов и другого мучительства меньше, чем ты привык за последние годы в Москве. Вильнюс хорош: чисто, но не прилизано. Там, где тебя поселили, – помесь Серпухова с Парижем, а старый город – очень особенный, ни на какой другой не похож.

– Всюду масса проблем, – улыбается хозяин артистического кафе.

Опытный человек, он успел пожить и в Израиле, и в Америке, чуть ли даже не в Иордании, и знает, о чем говорит. А ждет ли он, например, что спецслужбы (кто знает, как они называются?) отожмут у него кафе, и спасибо, если в тюрьму не посадят? И никакая Amnesty International ухом не поведет. Он искренне удивлен: нет, ничего подобного ждать не приходится, какое все-таки счастье, что распался Советский Союз! Ты тоже мечтал об этом, еще до всякой Литвы, еще когда восьмилетним мальчиком читал Диккенса, “Пиквикский клуб”. И знал, что есть такой город Лондон, в книгах, на картах, но увидеть его – не мечтай, сынок.

– Видно, что автор мало знаком с теорией прозы Виктора Шкловского, – произносит один из слушателей, негромко, однако отчетливо. Здоровенный литовец, работает в Вильнюсской обсерватории. Трудно не быть высокомерным, если работаешь в обсерватории.

Разговоры, чтения – по-русски. Для кого тогда, спрашивается, было книжку переводить? Ответ известен: для автора. – Поэтому кто у нас пойдет в магазин? Это, правда, тебе было сказано совсем в другом месте, хотя и по сходному поводу.

Ужупис, район свободных художников, с шуточной конституцией и правительством (Томас в нем занимает немалый пост) – здесь ты прочтешь свой рассказ “Фантазия”:

“– Хьюстон… – произносит Ада задумчиво. – Мы, Андрюш, в Вильнюсе квартиркой обзавелись. – Вильнюс, рассуждают они, от всего не спасет. Впрочем, с израильским паспортом… – Ого, у них и израильский паспорт есть?” – и слушатели заулыбаются, и в конце подойдет москвич, твоих приблизительно лет, выпускник физматшколы и доктор наук, – окажется, что квартирка, в которую тебя поместили, – его, он только что не помашет у тебя перед носом

лессе-пассе, израильским паспортом, но у него он есть. Значит, рифма найдена, число в ответе получилось целое, не какая-нибудь иррациональная галиматья.

– Приезжайте почаще, а то и давайте уже насовсем. Поверьте, тут есть что любить.

И дружеские враки будут, и бокал вина – не один. “Вы просто всего не знаете” – тут никто ничего подобного не говорил. В последний день пребывания в Вильнюсе начинаешь встречать знакомых на улице. Вильнюс способен отвлечь и развлечь – ровно настолько, насколько надо. “Разве мне может быть грустно, оттого что тебе хорошо?” Разделить чувство радости – для этого человеку идеально подходят родители. Всё, займи свое место и стань пассажиром, сядь ровно, ремень пристегни.

Мечты отпадают одна за другой – некоторые оттого, что сбылись, но в основном за ненужностью. Отцу хотелось, чтоб ты стал доктором медицинских наук, – зачем? Или: присмотришь было красивое кладбище над Окой, на другой стороне, условишься обо всем с женщиной, которая им заведует, но вдруг это станет совсем ни к чему – тихие, уютные кладбища есть и здесь, под рукой, на твоем берегу.

Там есть что любить – это точно. И тут тоже есть, еще как! – только б найти просвет между темными, твердыми дядьками, заслонившими выход, выбраться на простор. Но о дядьках все уже сказано. Вспомни тех, кого любишь, – хотя бы священника, который всех твоих родственников хоронил. “Аристократизм и простота, в нем есть лучшее, что есть в русских людях”. Об этом и думай, на воду смотри, вспоминай Литву.

Сильно за полночь ты окажешься дома. Останется выйти в Сеть и вместе с родными прочесть из первой главы Иоанна, с начала и по семнадцатый стих – на славянском, английском, немецком, русском. Такая у тебя будет Пасха в этом году.

Таруса, апрель 2017 *года*

Фантазия

– Стой, сука!

Сейчас его схватят за руки, отволокут к темной “Вольво”. Страшная сила, давящая и одновременно внимательная – чтоб не орал, не поранился. Он успеет задать идиотский вопрос – за что? – перед тем, как заткнут рот. Дальше будет провал и другая история, если что-нибудь будет, если не сразу сожгут в печи. Он думал иначе прожить этот день, особенно его окончание, но подобные вещи и случаются – вдруг.

– Вы, – думал сказать он сегодня тем восьмерым девицам, которых к нему записали на курс, – вы соль земли, вы на вес золота. Сценарист – единственная авторская профессия. Режиссер может не делать вообще ничего: актеры сыграют, оператор красиво их снимет, а монтажер смонтирует. Поэтому все и хотят в режиссеры. – Он тряхнет головой. – Никакие они, конечно, не режиссеры. Вы, – повторит, – на вес золота.

Он напугает девиц эрудицией, потом расскажет историю, в которой сам предстанет в смешном и нелепом свете, – запас историй большой, и это всегда обаятельно. Он мастер, они его ученицы. Их дело – учиться у мастера, его – прояснить для них материю кинематографа: что такое кино, а что таковым не является. Потом они вместе посмотрят фильм.

– Превращение. – Он пощелкает пальцами. – Дело все в превращении, если оно происходит, то… Понимаете?

И достаточно – для первого дня занятий. Потом он отправится к близнецам, подарит им сборник своих сценариев, там его вкусно покормят, потом вернется домой – к Варе, жене, и к Анюте, дочери, – те уже будут спать. Такой план.

Утро началось со смешного незначительного происшествия. Спускаясь в лифте со своего последнего этажа, он погляделся в новое, появившееся после ремонта зеркало, потом посмотрел на парадный портрет вождя – маршальский китель, звезды, – приклеился намертво, не оторвать, – и собрался его поскрести ключом, когда увидал надпись: “палачь”, с мягким знаком, синим по белому кителю. Хоть и печатными буквами, но руку Анюты нельзя не узнать. Грустно, с одной стороны, – чему только учат в этой Гнесинской десятилетке? – а с другой, трогательно. Вместе со звездочкой он соскребает с генералиссимуса мягкий знак.

Дом старый (придумал: во всех теперь отношениях сталинский), в подъезде всего лишь двенадцать квартир, так что не может быть и сомнений в том, кто наклеил портрет – жилец с ужасной фамилией Воблый: не Вадик же, скрипач-виртуоз, притащил эту дрянь, не Тамара Максимовна, педагог по сценической речи, нет, – Воблый, бывший топтун, – больше некому. Выходя из подъезда, пригнулся: после ремонта остались стоять неразобранные конструкции – строительные леса, сплетения из труб. Сейчас он увидит этого самого Воблого – теплое время года тот проводит на улице: дома курить не дают, да и профессиональная привычка, видимо, – возле подъезда торчать. Правда, в последнее время выходит со стульчиком, говорит: позвоночник больной.

– Это у всех у нас. Работа-то вся на ногах. Раньше не было камер наружного наблюдения. Ни этих, сотовых.

Что тут скажешь? Действительно, не было.

– Трудиться, Андрей Георгиевич? – спросит Воблый и опустит взгляд на часы.

Он кивнет ему, на мгновение почувствует себя виноватым – двенадцать, а он только выходит из дому – и отправится, да, на работу, пешком. В их районе за лето расширили тротуары, а проезжую часть, соответственно, сузили, улицы выглядят непривычно. Нарочно сделает крюк, чтоб пройти мимо школы, французской, которую он заканчивал: типовое здание, пятиэтажное, недавно к нему приделали нарядный стеклянный куб – не в стиле, но Москва ведь вся

эклектичная. И, между прочим, сегодня возле подъезда он Воблого не нашел. Того уже не было видно несколько дней – такое случалось, если его помещали в госпиталь, подлечить позвоночник. И то, пускай полежит. Этот палачь его сильно развеселил.

Да, школа была французская, считалось – лучшая, потом – ничего себе тоже – мехмат МГУ, хотя к математике выдающихся способностей не было. Как и к французскому, как (думалось в плохие минуты) вообще ни к чему. Но друзьям, а их было много, он казался, напротив, человеком разнообразных, больших дарований.

– Вы меня любите просто как вещь. – Стравинский, он помнит, похожим образом откликнулся на кончину Шаляпина. Может быть, не Стравинский, кто-то еще.

– Нет, Андрюша, это ты сам себя любишь как вещь, – отвечали друзья. – А мы… Мы тебя просто любим.

И он успокаивался, на какое-то время: чувства товарищей и подруг носят характер небезусловный, нуждаются в обновлении. Конечно, желание нравиться (вполне в его случае простодушное) – недостаток, но для художника, для артиста, естественный. Частый, во всяком случае. Говоря о грехах: из гражданских деяний он самым постыдным считает вступление свое в комсомол. Мальчик с семейной историей антисоветской деятельности – в квартире у них дважды производился обыск (взрослые говорили – шмон), – он помнит, как удивленно посмотрела учительница: Андрей написал заявление чуть ли не раньше, чем весь его класс. Глупость, ужасная глупость, и вовсе не обязательная – в восемьдесят седьмом. Зато с женщинами был неизменно честен, оттого и женат уже в третий раз.

Он – сценарист, его знают, хотя, как известно, дооцененных художников нет. Не только сценарии, он и пьесы писал, пока не увлекся кино, потом, когда появилась Анюта, стал работать на телевидении. А что же мехмат? Математика – высшее достижение человеческой мысли, никакой практической цели он не преследовал, отправившись на мехмат. Откровенно сказать, это тоже уступка была – родителям, самому ему хотелось другого: ставить, играть, сочинять. Театральная студия МГУ находилась в то время на очень приличном уровне, и он пропадал в ней все вечера, а к экзаменам – подчитает и сдаст. Видно, были все же способности. И армии избежал.

Математика математикой, есть кое-что, чему научиться сложней: трезвиться и бодрствовать, не унывать. Ничего ведь сопоставимого даже с тем, что пережили родители, не говоря уж о бабушках-дедушках, не происходит. Да, страшновато. Но больше ведь скучно, не правда ли? Так что не следует добавлять окружающим – тем, кто дороги нам не как вещь, – дополнительной тяжести. Может, не так все и плохо? Может, всё лучше, чем кажется? Нельзя же просто сидеть ненавидеть режим. Надо работать, писать, детей учить музыке (жена Варя преподает гармонию), русскому языку. Тем же, кого он меньше щадит, чье спокойствие не так ему дорого, он, напротив, советует эвакуироваться поскорей:

– Нам не хватает воображения. Эмиграция – жуткая вещь: парижский чердак или, не знаю, многоквартирный дом в Бруклине… А вот представить себе часового на вышке, подъем в шесть утра – нет, не хватает фантазии.

У самого у него с фантазией хорошо. Поэтому после разговоров про вышки и часовых, им же начатых, он ночами ворочается без сна. Обещает себе, что проснется, исполненный радости, благодарности – родителям, дочке, жене (в Бога он верит все меньше), друзьям, наконец, но чаще и чаще, в последнее время особенно, просыпается с сердцебиением, несвободный, скованный. Но он с этим справится, непременно. Во всяком случае, его девочки не должны страдать – с таким настроением он живет последние два с половиной года, в таких мыслях дожил до первого сентября.

– Андрей Георгиевич, почему вы ушли с телевидения? – Лидия из Краснодара: низкий лоб, челка и мелкий, характерный такой говорок.

– С телевидения все приличные люди ушли. – Разве она не заметила?

У них на Кубани… При чем тут Кубань? Эта Лидия – очень активная девушка. Что она раньше делала?

Студентам сценарного отделения всем уже около тридцати, образование у всех, профессия.

– Работала в ЖКХ, а что?

Так почему он ушел, она спрашивает.

– Решил, что не буду снова вступать в комсомол.

Непонятно? И хорошо.

Вот его новый курс: две Насти, две Оли, пара невзрачных юношей (эти, он знает, скоро отсеются, попросту перестанут ходить), девушка Лидия и, наконец, главный источник опасности – умница, брюнетка с зубами, Рахиль. Курс двухгодичный, коммерческий, брать надо всех, есть только две разновидности учеников, которых он опасается, – безумцы и умницы. Вот и одна из них: неровные крупные зубы, большие глаза. Верхние десны видны, когда улыбается. Сценариев тут не дождешься – фантазии ни на грош, голова ее переполнена Делёзом и Дерридой, заморочит она его разговорами. Но – Рахиль, восемьдесят седьмого года рождения: кто-то назвал свою дочь Рахилью в восемьдесят седьмом.

Итак, он их будет учить ремеслу сценаристов. Да-да, ремеслу, дорогие мои: продлившись без малого двести лет, романтическая эпоха закончилась. Время, когда художник сидел во главе стола, полного знати, всех этих ужинов Рихарда Вагнера с Людвигом, королем Баварским, минуло, кануло. Идеи о вдохновении, внушаемом свыше, если они у вас есть, забудьте их, выбросьте из головы. Некогда, в дни триумфов – он произносит имя известного пианиста, друга родителей (Рахиль кивает, остальным оно не говорит ничего), – его наставляли вести себя рядом с гением незаметно, ступать бесшумно, как в доме смертельно больного, не приведи Бог заговорить о прошедшем концерте, тем более – будущем, вообще о музыке. То ли дело теперь, с молодыми ребятами, а среди них немало есть изумительных мастеров, тот же Вадик (он называет фамилию), сосед его: народ был? принимали нормально? как прошло? Хмыкнет: прошло. Или просто: сыграл, как смог. Всё, пошли пьянствовать.

Ученики притихли, Лидия что-то записывает в тетрадь. В кармане у него вибрирует телефон. Посмотрим: нет, номер ему незнаком, – и он переходит на то, что визуальные виды искусства – кинематограф в первую очередь – все больше теснят литературу и музыку, он не знает, виной ли недостаток воображения, но ту же музыку он предпочитает слушать теперь с картинкой, в видеозаписи. Так что, коллеги, умение писать сценарии, сочинять кино – вещь полезная, хотя в нынешней ситуации, в нашей нынешней ситуации, он их должен предупредить, перспективы отнюдь не радужны, и если они пришли за рецептом быстрых успехов, то рецептов нет – успехов, ни быстрых, ни медленных, не последует:

– Придется нам разделить судьбу многих замечательных архитекторов: наши грандиозные здания будут существовать на бумаге – в журналах и сборниках, на экраны не попадут.

Стук в дверь. Девица из канцелярии.

– В кадры зайдите, пожалуйста.

Она, что же, не видит? – он проводит занятие.

Надо заполнить учетный листок. Написать, в каких зарубежных странах он побывал за последние десять лет.

– Нельзя написать – во всех?

– Что означает – во всех?

Начинает перечислять: Австрия, Бельгия, Венгрия, Греция… – глупо, в присутствии учеников.

– В кадры зайдите, – перебивает девица. – Не позже вторника, с заграничным паспортом.

Он выходит за ней в коридор: что случилось-то?

– Ваше личное дело затребовали.

Почему шепотом? Уже и дело какое-то есть?

– Личное дело заводят на каждого.

А откуда затребовали? Всех – или только его?

Она пожимает плечами: к чему спрашивать? Смотрит с участием:

– Может, что-нибудь написали? Или сказали? Подумайте.

Что он мог написать? Сердце делает паузу, потом производит сильный толчок. Снова и снова – пропуск, толчок. Он знает: сердце не остановится, это так называемые экстрасистолы, ничего опасного, все равно как-то нехорошо. Делает несколько вдохов, возвращается в класс: ну что, давайте смотреть кино?

Движение пыли в луче проектора, белый экран, полутьма – серьезные фильмы смотрят не в телевизоре. Он покажет им “Листопад”, потом разъяснит, как эта картина устроена. Подсказывает, на что обратить внимание: на семейные фото, на стук биллиардных шаров, расстроенное пианино в кабинете директора, на крупные планы, нечастые, на русскую речь по радио, на то, что любое почти событие повторяется дважды, имеет свое отражение. Так невысохшие чернила отпечатываются на соседней странице, если захлопнуть тетрадь.

– Какие грузинки усатые, – вздыхает одна из Оль.

Не будем смеяться над Олей. Еще впечатления? Самого его “Листопад” неизменно гармонизирует, примиряет с действительностью. Между прочим, создатель этого фильма тоже провел на мехмате несколько лет, перед тем как податься в кино.

Так о чем это? Ничего ведь почти не случилось: в сущности, мелкое производственное событие. А помещается в вечность – крестьянскими сценами, чередой фотографий, финальным ударом в колокол. С его точки зрения, фильм – о рождении личности, о достоинстве.

– Укорененности, может быть?

Да, спасибо, Рахиль. А откуда возникло название, не ясно ему самому: в августе листья не падают.

– Вегетативный цикл винограда. Созревание ягод, потом побегов, и листопад. Подготовка растения к зиме.

Вот оно что, Рахиль – ботаник, в прямом смысле слова: окончила биофак. Научное знание и так никому не вредит, а для художника это ценнейший источник метафор.

– Насквозь антирусский фильм, – вдруг заявляет прекрасная Лидия.

Он улыбается:

– Может, антисоветский?

Маленький лоб ее собирается складками:

– Это одно и то же, без разницы.

Нет, ему так не кажется. Разница есть.

– Андрей Георгиевич, как вы относитесь к действующей власти? Нашей, да, нынешней. – Лидия спрашивает как имеющий право знать, смотрит прямо ему в глаза.

Он вспоминает о разговоре с девицей из канцелярии. Отшутиться цитатой? – но зачем-то он показывал им “Листопад”. Отвечает резко:

– Отношусь отрицательно.

Рахиль ударяет в ладоши несколько раз: она ему аплодирует, больше никто.

– Всё, пишите задание.

Вместе с нею дошел до метро. Она работала в школе до недавнего времени, пока это не стало совсем невозможно по причинам, всем нам понятным.

– Как я рада, что именно вы наш мастер, Андрей Георгиевич. Вы не только замечательно талантливый человек, но и очень смелый. Одного без другого и не бывает, ведь так? – Попрощалась с ним за руку.

В вагоне вспомнил про телефон. Звонков накопилось шесть штук, с одного и того же неизвестного номера. Доехал до “Воробьевых гор”, выбрался на платформу. Какая-то ерунда: “Вызов не может быть установлен”. Странно, деньги на телефоне есть. Неполадки в сети? Попробовал снова – все то же. И дальше поехал, до “Юго-Западной”.

К близнецам он ходит один. Будут: хозяйки, подруги его – Ада и Глаша, Аделаида с Аглаей (вот что делает любовь к Достоевскому), их мужья Александр и Алексей – он не сразу научился их различать – положительные, немного скучные, инженеры – редкая по нынешним временам профессия, будут дети их, они уже стали подростками, еще, вероятно, три или четыре пары гостей.

Ада старшая, десятью минутами раньше сестры появилась на свет. “Каково это, иметь свою точную копию?” – “Мы привыкли, – отвечают они, – а каково это, не иметь?” И живут рядышком, на шестнадцатом, – две квартиры, общий балкон. Учились вместе с ним в МГУ, на химическом факультете, и тоже учебе предпочитали театр. – Живое время было тогда, да, Андрюш? Вспоминают: все курили вокруг, и у них от волос, от платьев тоже пахло всегда сигаретами. Было весело – сами костюмы шили, сами строили декорации. Близнецам найдется что поиграть: они, например, “Кентервильское привидение” сделали очень смешно, но для Ады и Глаши театр так и остался игрой, не превратился в профессию. Счастье, что никакой любовной истории с этими девушками не было у него, почти никакой. С Глашей кое-что было, и то скорей под влиянием минуты, давно.

Из гостей пока что – одна семейная пара, он никогда не знает, как их зовут. А где, спрашивает, такие-то? – В Грузию перебрались. – Надо же. Как-то он этот момент упустил.

– Конечно, с твоим размахом… – Глашенька издевается? Вроде бы нет.

Разговоры обычные: о том, что – вот, лето кончилось, о здоровье родителей, а больше – об их тяжелых характерах, о достоинствах и недостатках сиделок из республик бывшего СССР. Ему сказать по этому поводу нечего: его родители в сиделках пока не нуждаются.

– Андрюш, ты сегодня не в фокусе. – Сестры хотят, чтоб он отвлекся уже от закусок, что-нибудь рассказал. Тем более что у них еще жареный фазан впереди. Как его новые барышни?

Он мысленно перебирает сегодняшние события – довольно пугающие, надо признать: изъятие личного дела, ни с того ни с сего, вопросы про власть. И отсутствие реакции – даже не настороженная, а пустая какая-то, бессодержательная тишина в ответ на его заявление, одинокие, одиночные аплодисменты, лучше б их вовсе не было. Покричали бы лучше, поспорили. Прежде, с другими группами, случалось и покричать.

– Курс как курс: две Тани, две Мани, два зятя Межуева, одна агрессивная идиотка, но есть, как мне показалось, и родная душа. – Веселого мало, но тон надо взять пободрей: – Скармливаю им любимые свои мысли, одну за другой, безо всякой политики, и тут выпархивает, – он вспоминает красотку Лидию, – такая, знаете, сучка-пташечка – тонкие губы, маленький рот.

Слушатели переглядываются: Андрюша удивительно наблюдательный. По совести, он не помнит, какой у Лидии рот, это сказалось само. Доводит повествование свое до конца: упоминает и кадры, и канцелярию, додумывает немножко – всякой истории, даже простой, нужны кульминация и развязка. Теперь, досказав, он ждет, что его успокоят, утешат: нестрашно, мол, у нас в институтах, на предприятиях тоже проверки – для галочки, у всех теперь план, в том числе по проверкам, не о чем беспокоиться, не те времена. Все, однако, молчат.

– Ладно. – Надо закончить на тонике. – Если остался тут жить, будь готов ко всему.

Разговор после этого снова как-то виляет, путает, то съезжает на прошлое, то на детей, уже и вино ими выпито, и съеден фазан, и он рассуждает вслух о неверной нашей идее о спра-

ведливости – что она, справедливость, в чем-то главном всегда присутствует или восторжествует вот-вот:

– И ничем не вытравить этого детского заблуждения. В итоге за нами придут, а мы только спросим – за что? Я и сам избáлован. Мне никогда, например, оценок не ставили ниже, чем я заслуживал. Учился прекрасно, особенно в школе, хотя знал иногда – на троечку в лучшем случае.

– А у меня, – произносит внезапно Лёша, – наоборот.

У Лёши иное представление о справедливости. Если тебе дали больше, чем ты заслужил, – какая тут справедливость? У него, впрочем, и притязания скромней. И Лёша, от которого раньше слова не слышали, рассказал, как они с товарищами ходили весной на суд, вернее – к суду, их не пустили в здание.

– Стоим мы и час, и два, что-то выкрикиваем, а больше переминаемся с ноги на ногу – холодно, так что пришлось отойти по нужде. Вернулся, дальше стою. Товарищей потерял: народу собралось все же несколько сот человек. Пока отходил, появились автобусы, с обеих сторон перекрыли проезжую часть. Объявляют: “Граждане, не мешайте проезду транспорта”. А мы – на тротуаре стоим. Потом полиция – со щитами, со шлемами – начинает хватать из толпы одного, другого, чаще тех, кто кричит или имеет отличительную особенность – плакат, яркую шапку или, допустим, рыжую бороду. Я и не против оказаться в автобусе – отвезут в отделение, паспорт проверят и выпустят, однако специально туда не рвусь. Наблюдаю пока. А эти: “Граждане, освободите проезжую часть”. Кто поближе к дороге находится, тех метут уже всех подряд. Но автобусы, даже полные, никуда не движутся, а мне, чувствую, скоро опять пора. Выясняется, что не только мне. Немолодые интеллигентного вида женщины говорят: неплохо бы запастись пластмассовыми бутылками, потому что если отрезать горлышко… Смеются: вам, мужикам, хорошо, можно не отрезать. И тут я просто ушел – не понравилась мне идея мочеиспускания в автобусе. И на то, как бабы в бутылки писают, тоже смотреть не хочу.

– И всё?

– Да, ушел. И закончилась моя протестная деятельность.

– Андрей стал настоящим преподавателем. – Почему-то Глаша о нем сказала в третьем лице. – Ему неуютно, когда кто-то дольше него говорит.

Так и есть, надо брать разговор в свои руки:

– Дело, мне кажется, в недостатке фантазии. Конечно, как представишь себе тяготы эмиграции… Приютит меня… – Он называет общего друга, который живет в Брюсселе с давних времен. – У него квартира огромная. Или, – другой их знакомый, – в Хьюстоне целый дом. Вот он ушел на работу, потом пришел с нее, ну а ты, что ты создал сегодня? С Голливудом что-нибудь движется? Ты заглядываешь в холодильник, а он почему-то морщится. “Может, Андрюш, попроще работу пока поискать?” Что, пиццу поразносить или постричь кусты, помести улицу? “Только не думай, никто ведь не гонит тебя. Ну вот, ты обиделся…” Представить, как дети от тебя отдаляются, борьбу свою с алкоголем, с тоской – на это хватает фантазии. А как вам крики “Подъем!” в шесть утра, цех по пошиву варежек? Запах немытых тел, необходимость соблюдать этикет, специфический, лагерный. Продолжать? Угроза для жизни – ежеминутная, нехватка тепла, еды, воздуха. Дело даже не в “ради детей” – нам бы о себе позаботиться. Инерция – страшная вещь. Знаете биографию Киссинджера? Помните, сколько они тянули, прежде чем сбежать из Баварии? А ведь мы не смышленее Киссинджера, я уверяю вас.

– Хьюстон… – произносит Ада задумчиво. – Мы, Андрюш, в Вильнюсе квартиркой обзавелись.

– Да? Давно?

– А вот после Лёшиного похода к суду.

Дачу продали. Дачи жаль, но приходится чем-то жертвовать. Вильнюс, рассуждают они, от всего не спасет. Впрочем, с израильским паспортом… – Ого, у них и израильский паспорт

есть? – Только у Саши пока и у Глаши. – Он не знал, что Саша еврей. – Немножко, по бабушке, но как раз то, что надо, – со стороны матери.

– Похоже, Андрюш, ты останешься в лавке один.

Пауза.

– “Пир продолжается. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость”, – декламирует Глаша.

Жестоко. Но, в общем, по делу. Ада выразительно глядит на сестру:

– Это ведь так, на всякий пожарный. Может, и не понадобится.

Остальные занялись уже чаем с конфетами и коньяком.

Тут душновато. Он поднимается из-за стола, идет в соседнюю комнату, подходит к окну. Теплый московский вечер, зажглись огоньки. Ада отворяет дверь на балкон: когда стемнеет, станет совсем хорошо. Не центр, конечно, но им их район нравится. А если высунуться и посмотреть вон туда… – Ада отодвигает стекло.

– Не надо, пожалуйста! – Он отступает в прихожую.

Он стал побаиваться высоты.

– Страшно, что балкон упадет?

– Заглядеться боюсь. Поддаться минутному искушению и…

Она подзывает сестру.

– Слушай, нам не нравится твое состояние. Ты, Андрюш, всегда выходил за рамки предлагаемых обстоятельств. Но и знал, когда пора уже отодвинуть театр и готовиться к сессии.

Да, было такое… Он надевает ботинки: подвигаться надо, пройтись. Ничего, если не прощаясь?

– Или, знаете… Ноги не держат. Сестрички, вызовите такси.

Они провожают его, целуют каждая в свою щеку:

– Мы слабостью сильны.

– А сла́бы мы безмерно. – Улыбаются, машут рукой.

Их ласка в иных обстоятельствах была бы очень приятна – такие они красавицы и такие свои, но сегодня он мало чувствует. Ни близнецы, ни выпитое вино не развеселили, не опьянили его. Да он и не пил почти.

– Твою ж мать! – водитель ударяет по тормозам, выводит его из болезненной дремоты. – Видал, что творит? Этим, – вставляет еще ругательство, – можно все. Номер видал? ЕКХ97. Знаешь, что это за серия?

Откуда ему знать про какие-то номера? Просит чуть-чуть приглушить радио – русский рэп, не худшее по нынешним временам, пусть будет, только потише – и снова пробует дозвониться тем, кто искал его, пока у него шли занятия. Теперь механический голос ему предлагает ввести индивидуальный пароль. Какого черта? Что за пароль?

– По этим навороченным аппаратам, – водитель тычет пальцем в его телефон, – могут любого вычислить. Кто где находится, о чем говорит. Даже если вырубить и батарею вытащить. Спецтехнологии. Все мы под колпаком.

Лучше назад было сесть. Что там про автомобильные номера? – И водитель ему рассказал: когда он неделю назад тещу свою хоронил, то в обход очереди из похоронных автобусов к крематорию подрулил мужик – один, без помощников – тоже номера ЕКХ, “Форд”, минивэн – подошел к работникам, те ему помогли два гроба сгрузить – завезли их внутрь, мужик с ними тоже прошел – всё, через три минуты выходит, развернулся, и нет его.

– А кто в тех гробах? – Он старается, чтоб голос его не дрожал.

– Хрен его знает. Может, такие, как мы с тобой.

Ему становится ощутимо нехорошо, он начинает часто дышать – до помутнения в глазах, до жуткого сердцебиения. Как окно открыть? Опускает стекло до конца, подставляет лицо

потоку холодного воздуха. Не спрашивая разрешения, поворачивает колесико радио – прибавляет громкости. Он больше не слышит водителя – любой рэп, любое говно лучше, чем эти истории о гробах. На зеркале надпись: Objects in mirror are closer than they appear. В такт музыке принимается повторять: Objects in mirror / Closer than they appear. Предметы в зеркале ближе, чем кажутся. Ближе, чем кажутся или чем появляются? Учите матчасть. Где они closer? В зеркале? Ум за разум. Objects in mirror… Что это значит?! – Что? Нет, блевать он не собирается. Одностороннее? Ничего, выйду тут. Домой, скорее бы. Как же его трясет! Он доходит, почти добегает до поворота в свой переулок, вон он – подъезд. Еще каких-нибудь тридцать метров, и он у себя. Но прямо на тротуаре рядом с подъездом – незнакомая темная “Вольво”, огни не горят, но мотор работает. И длинные тени возле нее. Номер? Какие буквы, как он сказал? Номера как будто нарочно грязью заляпаны. Нет, тень одна, но двойная. Он сжимает в кармане ключи – можно ударить ключами или бросить связку в чужое окно, разбить, устроить переполох. Рвануться? Бежать? Он не чувствует ног. Допрыгался, Киссинджер? Сейчас, сейчас он сделает шаг или два и услышит окрик: “Стой, сука!” – и страшная сила схватит его за плечо.

Тень щелкает зажигалкой, прикуривает. Боже мой, Воблый!

Тот тоже узнал его:

– Андрей Георгиевич, отдыхать?

Не помня себя, он бросается открывать дверь, как вдруг – удар в голову. Трубы, леса, он забыл про них – не пригнулся, входя. От удара садится на корточки, прижимает руку ко лбу. Нет, крови нет. Переводит дух. Воблый над ним склоняется, хочет помочь – не надо, все хорошо. Все действительно хорошо, только очень болит голова.

“Саечка за испуг” – так это называлось в школе. Надо бы приложить холод. Вошел в лифт, прислонился к зеркалу лбом, постоял с полминуты. Нажал свою кнопку, и, пока поднимался к себе, все прошло. Отстранился от зеркала, посмотрел внимательно на себя: давно его так не колбасило. “Саечка за испуг” – он забыл уже и французский, и математику, а такая вот ерунда помнится до сих пор.

Тихо вошел в квартиру, заглянул в спальню, а затем и к Анюте, дочери. Так он и думал, спят. Кто это, Геббельс, своих девочек отравил напоследок? Вышел на кухню, у окна постоял, посмотрел на темный пустой тротуар. Потом прошел в ванную, взял мыло, щетку, набрал в таз воды и тер стенку лифта, пока целиком не отдраил ее от усатой сволочи. Ошметки смел в шахту. Полюбовался на пустую, еще мокрую стенку лифта, опять взглянул на свое отражение в зеркале. Ну что, можно снова считать себя молодцом?

Январь 2017 *года*

пгт Вечность

Память на лица у меня отвратительная, пациентов я запоминаю с трудом. С первого раза – почти никогда, особенно тех, кто приходят, что называется, так, провериться или, хуже того, – за бумажками: курортную карту оформить, подписать направление на ВТЭК. Последним отказываю безжалостно: дашь слабину – и получишь под дверью кучу просителей. Мы делом тут занимаемся, медицина – не сфера обслуживания. А ВТЭКи и МСЭКи ваши – сплошная коррупция. Вы ведь не умеете взятки давать? Впрочем, меня это не касается.

Однако Александра Ивановича Ивлева, автора тех заметок, которые вам предстоит читать, я и запомнил, и прогонять не стал. Он подошел ко мне в коридоре, обратился: “доктор” или по имени-отчеству, но в этом были такое достоинство и одновременно отсутствие вызова, какие редко встретишь в наших краях. Я позвал его в кабинет.

Во внешности старика, во всей фигуре, походке, манере держать себя проглядывало нечто особенное, я бы сказал – птичье. Прямая спина, пальцы тонкие, длинные, глаза светлые, почти что бесцветные, не водянистые, а словно прозрачные, большой острый нос. Но нет, демонизма в Александре Ивановиче и в помине не было, напротив – что-то мальчишеское, веселое, готовность к улыбке, к приязненному разговору безо всяких, как это бывает в больнице, надрыва, истерики – коллеги поймут меня. И одет он был небанально, со вкусом, как выяснилось – артистическим, но помнить, кто был во что одет, об этом рассказывать – за это я не берусь.

Усадил его перед собой, перелистал бумаги:

– Как поживаете, Александр Иванович?

– В соответствии с возрастом и социальным положением. – Вот это ответ!

Был когда-то завлитом – заведующим литературной частью театра. У нас в городе (“Слава Богу” – так он сказал) театра нет, да и Александр Иванович давно уж пенсионер. Обратиться ко мне заставил его грустный повод: оформление бумаг в дом-интернат для инвалидов и престарелых.

– Для ветеранов. Мы называем себя ветеранами. Не знаю чего. Простите, что отвлекаю вас.

Какие могут быть противопоказания для богадельни, как ее ни зови? Подписать, печати поставить – и отпустить. Я все же решил посмотреть его – сделать для симпатичного человека что-то хорошее. А что я могу? – посмотреть.

Медсестра помогла ему влезть на кушетку, тут я только заметил, что физические усилия даются Александру Ивановичу с трудом.

Открою секрет: нам свойственны оживление, почти радость при встрече с серьезной и редкой болезнью, особенно если впервые ее обнаружили именно мы, если она излечима или не относится напрямую к нашей специальности – есть возможность явить наблюдательность, кругозор. В случае с бедным Александром Ивановичем я, однако, восторга не испытал. Не потому, что он был здоров (вовсе нет), а потому, что за недолгое наше знакомство старик успел мне понравиться. А находить болезни, пускай излечимые, у добрых знакомых – нет, это не доставляет радости. Да и как одинокому пенсионеру справиться с нашей системой так называемой высокотехнологической помощи? – ведь не от счастливой семейной жизни и материального благополучия замыслил он переселиться в дом престарелых, которых так мило зовет ветеранами.

Медицинскую составляющую истории я, разумеется, опущу.

– Операция так операция. – Александр Иванович принял известие о своем диагнозе с редким спокойствием. – Сколько, по вашему мнению, осталось мне без нее?

Год, я сказал – год. В лучшем случае. И это не будет хороший год. Воздух нужнее еды, воды.

Я умею людей уговаривать, некоторые считают меня даже деспотом. Слишком сильное определение – все от мотивов зависит, не правда ли? Но Александра Ивановича оказалось несложно уговорить. Итак: надо ехать в Москву (вот адрес), предварительно созвонившись (я оставлю ему телефон), получить заключение профессора, который и будет его оперировать, затем в область, за квотой, а если вдруг не дадут, то звонить мне, немедленно, номер сверху, на заключении.

– В квотном отделе хорошо помогает слово “прокуратура”, запомните? – Кивнул, неуверенно – дальше через полмесяца-месяц, от силы два, его вызовут, а потом, когда все закончится, – снова сюда.

Не очень это, прямо скажем, работает, особенно у пожилых, но есть у нас и удачный опыт, необходимо пробовать. Прощание получилось скомканным, я ему, по-моему, даже не протянул руки: меня уже ожидал следующий.

Вечером наводил порядок, тетрадку нашел, обернутую в целлофан. Его, Александра Ивановича. Что-то личное. Позвонить? Медсестра говорит: у него и телефона-то нет, ни городского, ни сотового. Ничего – вспомнит, придет. Сунул тетрадку в ящик стола: вот где у меня бардак так бардак.

Возможно, теперь я подверстываю впечатления о манерах и внешности Александра Ивановича к тому, что узнал из его – как угодно – повести, дневниковых записей, концы с концами свожу, а тогда: клиент и клиент. Приятный. Наше дело – болезни лечить, зарабатывать, беспокоиться о семье, не будем идеализировать профессию: да, хорошая, возможно, лучшая, но – профессия, со своими рамками. В жизни больных мы должны играть как можно меньшую роль. Все-таки через пару недель вспомнил: что там наш Александр Иванович? Положили? Прооперирован? Позвонил в Москву: как там наш старичок? Нет, он до них не доехал. Или не произвел впечатления. Ни тяжестью состояния, ни уровнем личности. – Дедок, запущенный? – Нет, сохранный, вполне себе. Да не такой уж и дед. – Кто-то был от вас. Женщина. Никаких журналов, никаких записей. – Верно, я и женщину направлял. Спросил заодно о женщине. – Ладно, давай, – говорят, – присылай своего старичка.

В область звонить – дело пустое, да и противное. Не сам, медсестру попросил. “Ничем не можем помочь”, – что и требовалось доказать. В доме для престарелых Александра Ивановича не обнаружилось, звонков на “скорую” не поступало, через морг наш он тоже не проходил.

Хорошо: телефона нет, но ведь адрес имеется. Город у нас небольшой. Пусть и несколько вычурно – заявляться к своим пациентам без вызова, но я к нему зарулил.

Не дом – полдома, вход общий. В дверях мужчина. Обычный местный, мало запоминающийся. Говорю ему что-то быстрое, не очень членораздельное, но с нажимом, с уверенностью. Никто не слушает, что именно говорят, важен тон.

– Сейчас. Спрошу у мамуленьки.

Я уже выучил: у мамуленьки – у жены.

Толкаю дверь на половину Александра Ивановича. Странно, не заперта. Судя по всему, соседи начали пользоваться его территорией. Сказать, что он небогато живет (жил), – ничего не сказать. Сейчас многим трудно. Но у нас еще можно справиться: низкий уровень жизни, провинция.

Приходит жена, их теперь двое, и уже в них заметна агрессия. Оба толстые, неухоженные, и пахнет нехорошо. Я объясняю, зачем пришел, – нет, они мне не могут помочь.

– Что за банки? Его? Александра Ивановича?

– Наши, – отвечает жена. – Уберем.

Сосед их уехал.

– Куда? Когда?

– А он нам докладывает?

Типичная ситуация: при всей бесцеремонности эта парочка – очевидно, из тех, кто простое внимание к ближнему считают чуть ли не оскорблением для себя. Опора режима. Это я так, в сторону.

Вечером пришло в голову: а вдруг они убили моего Александра Ивановича? А что? Вид у этого толстяка с мамуленькой такой был, хозяйственный. И фамилия подходящая: Крутовы. Убили, труп спрятали или зарыли где-нибудь, теперь пользуются его комнатой. Не только в Москве, но и тут у нас стало мало необычных людей, чудаков. Во времена моей молодости их было значительно больше, куда они делись все? А туда и делись: не выдержали конкурентной борьбы.

Поделился своими мыслями с начальником здешней полиции.

– Крутовы? Нет, – говорит, – не думаю. Сейчас ведь не девяностые.

Странная логика.

– Но если надо, – сказал, – проверим. – Выразился: – Прессанем.

– Давайте только, чтоб всё по закону.

Обиделся:

– Когда у нас было не по закону-то?

Ну, вам видней.

Тут уже вспомнил и про тетрадочку. Почитал. Если и вы почитаете, то вам, вероятно, станет понятней настойчивость моих розысков.

К Макееву (о Владилене Макееве, местном писателе, вы узнаете из записок) я обращаться напрямую не стал, попросил соседку-художницу, этнически безукоризненно русскую. Макеев тоже, естественно, не помог.

Прошло еще несколько месяцев ожидания и бессистемных поисков со звонками во всякие неприятные учреждения – областные, московские, федеральные – куда только я не звонил. Делалось все ясней, что Александра Ивановича нет в живых.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.